

# О дедушке – враге народа и маме – ихтиологе, о скандальных хищениях на ЗИЛе, Блоке, Мандельштаме и импреокларистах

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1739>

🗣️ 10 июля 2014

## Собеседник

Сосна Алексей Леонидович

## Ведущий

Лепешонкова Нина Викторовна

## Дата записи

Беседа записана 10 июля 2014 и опубликована 27 февраля 2017.

## Введение

Первая беседа с искусствоведом, директором Зверевского центра современного искусства Алексеем Сосной посвящена истории его семьи, его детству и юности. Алексей Сосна рассказывает, как деда объявили врагом народа, а мама чудом выжила во время Ашхабадского землетрясения 1948 года; как отец ездил на целину и был премирован «Победой». Сосна вспоминает о детстве, об учебе в Автомеханическом институте, о неконформистском выборе работы на заводе ЗИЛ вместо НИИ; о первых друзьях, формировании мировоззрения, первых литературных опытах и о поступлении в Литинститут.

**Нина Викторовна Лепешонкова:** Начнем с истоков, с вашей семьи. С чего все начиналось? Ваш род — расскажите, пожалуйста, о нем.

**Алексей Леонидович Сосна:** Как и очень многие граждане нашей страны, я образовался в результате знакомства моих родителей, моих папы и мамы, Леонида и Галины, у которых, кстати, именины два раза в году и в один день, что не часто бывает. И встреча их произошла в результате тех пертурбаций, перемещений внутривластного свойства, которым тогда наша родина подвергалась. Мой прадед по материнской линии, казак по фамилии Шеруденко, оказался в Ставропольском крае. Они были с прабабкой из соседних станиц или сел Бурлацкое и Благодарное. Прадед был приказчиком в магазинчике, сначала маленьком, потом все большем у своего тестя Огуреева... Я так подозреваю, что кто-то из ближайших родственников прабабки, старших родственников, был духовного звания, потому что сам крест в силу известных обстоятельств не всплыл, но среди фамильных реликвий [есть] массивная золотая цепь особого кручения, которая свойственна именно служителям церкви и предназначалась для ношения креста. Креста иерейского.

Своёком прадеда был крупнейший промышленник края, которого за то, что он выиграл конкурс на подряд по строительству железной дороги в Ставропольском крае, в 1913-м благополучном году отравили конкуренты. В одном из зданий, им построенных, находится музей краевой, где ему, свояку прадеда — они были женаты на родных сестрах — отводится целая мемориальная комната. Я сам там не был, но троюродный брат мамы, соответственно, внук этого свояка моего прадеда, рассказывает об этом очень подробно. Фамилия его была Башкатов, и, собственно говоря, до сих пор нами чтится его память.

Что касается папиной линии, то мой дед, родившийся в 1888 году, в 1910-е годы был пламенным большевиком и увлекался марксизмом. Родственники рассказывали, что он мотался с чемоданами нелегалщины в Аргентину, мечтая о том, чтобы революция, которая по Марксу должна была состояться в наиболее развитой капиталистической стране, произошла именно там. Аргентина в начале XX века была одной из самых преуспевающих стран мира. Было выражение даже: «Богат как аргентинец». Сейчас о былом величии Аргентины говорить не приходится, ее погубили бесконечные государственные перевороты. Но тогда, по мнению того марксистского кружка, агитация должна была происходить именно на территории государства, где это было наиболее вероятно.

## Бабушки и дедушки

Потом был определенный провал — мне не удалось выяснить, кем был дед до своей последней официальной должности. В конце 1930-х годов он стал зав. архивов ВЦИК Украины. И семья из Харькова в середине 1930-х или ближе к началу 1930-х переехала в Киев именно в связи с его переводом. Очень рассчитываю на то, что он «не расстреливал несчастных по темницам» и людей не ел. Очень добрый был человек, хотя этот кусок его жизни между 1910-ми годами... То есть не известно, кем он был в революцию. Известно, что после войны его не восстановили, причем в очень жесткой форме, в должности. Он эвакуировал Киевский архив, занимался его перевозкой в Куйбышев, нынешняя Самара. Собственно говоря, благодаря этому архиву известны все подробности по Голодомору и многим другим фактам довоенной украинской истории.

Бабушка по отцовской линии была выпускницей Тартуского университета. Она закончила филологический и медицинский факультеты. Не знаю, в какой последовательности. Не исключено, что медицинский факультет она закончила в связи с тем, что на сельскохозяйственных работах у нее была настолько повреждена нога, что ее пришлось ампутировать. В восемнадцать лет она осталась без ноги. Всю жизнь, а прожила она семьдесят три года, она ходила на протезе, сильно хромала, что, впрочем, не помешало ей выйти замуж за горячо любимого деда, в молодости невероятного красавца, и стать матерью двоих детей. В конце войны один из высокопоставленных военачальников, проходивший реабилитацию после ранения в Юрмале, предложил ей перевестись в Москву, куда его, собственно говоря, переводили. Она была заведующей терапевтическим отделением и, видимо, неплохим врачом. Хотя помню, основные

ее, так сказать, диетические средства лечения простуды были мясной бульон и горячее молоко, что с современной системой диетологии как представление о правильном лечении и питании увязывается мало. Однако отец рассказывал, как она его выхаживала, когда он в каких-то невыносимых условиях после — или в процессе — невероятной дизентерии откуда-то куда-то добирался и сутки шел расстояние порядка километра. И бабушка умудрилась его выводить.

## Родители

Отец был 1927 года рождения, и на фронт он не попал. Его призвали в армию в январе 1945-го года, когда, собственно, исход войны был уже очевиден. Из них должны были сделать за три недели или три месяца, не берусь утверждать, летчиков. Собственно говоря, их собрали, переписали, построили строем и сказали: «Идите на все четыре стороны, дан приказ вас распустить, без вас довоюем». Отец остался в аэропорту механиком. Было это под Москвой, аэропорт этот находился в районе Медвежьих озер. Какое-то время он работал там, одновременно поступив в Авиационно-технологический институт. Бабушка к тому времени получила комнату на 5-й Тверской-Ямской, ныне улице Фадеева, которая, собственно говоря, стала моим первым ощущением того, что впоследствии было прочувствовано как московский центр. В 1954-м, что ли, или в 1955 году, еще до моего рождения, отец оказался на целине, и три или четыре проведенных там года оказались лучшими годами в его жизни. Он всегда их вспоминал с ностальгической ноткой. Он оказался главным инженером совхоза... МАТИ ему так и не удалось закончить, он перевелся в Заочный металлургический институт, который закончил, получил распределение в ЦНИИТМАШ так называемый, Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения. И проработал там с редкими перерывами практически всю жизнь. И после целины он туда вернулся.

На целине его премировали «Победой», поэтому он приехал в Москву таким гоголем. Тут же женился на маме, которая в течение пяти лет, говоря словами поэта Бродского, «за него ни с места». Мама утверждает, что «Победа» тут была совершенно ни при чем. Это уж не мне судить. Собственно, мои первые впечатления, связанные как раз с 5-й Тверской-Ямской, это как мы с моим двоюродным братом Андреем сидим на тогда уже не «Побед» — отец довольно быстро продал «Победу» и купил голубую «Волгу». Это был тот странный период, когда можно было еще, не в виде, так сказать, подачки за примерное поведение и верный идеологический курс, а можно было просто записаться в очередь и через несколько месяцев получить автомобиль. Денег у народа не было. Узнав, что очередь подходит, папа продал «Победу», купил эту «Волгу», и, собственно говоря, мои детские ассоциации были связаны именно с этим автомобилем. Под его цвет у меня были незабвенные «бобубые бобинки» — голубые ботинки, которые у нас украли в Ленинграде, когда мы туда приехали. Мне было два с половиной года, я очень хорошо помню, как отцу вскрыли там багажник. Мы долго охали и вздыхали, потому что украли все, что там было, в том числе вот эти голубые ботиночки.

” А на 5-й Тверской-Ямской, мы сидели на крыше этой «Волги» ногами на капот и с очень гордым видом отбрасывали прохожих, которые делали нам замечания: «Вы что, огольцы, творите!» — «А это наша машина!» — говорили мы им надменно.

И в этот момент открывается парадная дверь, и появляется отец. (*Смеется.*) Что было дальше, представить нетрудно, но я очень хорошо помню, что именно этот момент послужил мне осознанием того, что материальными благами, как бы они тебя ни возвышали относительно других людей, гордиться не стоит.

Собственно говоря, мама... Мама ввиду того, что дед оказался, естественно, врагом народа — он в 27-м году получил десять лет ссылки. Времена были сравнительно «вегетарианские». И в 37-м он возвращался, отмотав весь этот срок, с Севера... Не могу сейчас точно сказать, откуда именно, это помнит мама.

И приехал он к одной из дочерей в Новосибирск. Это была мамина тетя, ее мужем был красный комиссар, который, увидав тестя, сказал ему громким шепотом: «Сутки — и чтобы я тебя больше не видел!».

Так и получилось, что он его больше никогда не увидел, потому что прадед собрал шмотки, схватил в охапку дочь и внучку — вторую дочь, всего их было три, — мою маму и мою бабушку — и тотчас махнул к сыну... А, еще сын был, который, как это ни парадоксально, был видным финансовым чиновником в Туркменистане. И мама, родившаяся в Ставрополе в 30-м году, оказалась, соответственно... Наверное, я путаю, дед все-таки вернулся где-то в 34-м, потому что мама в Ашхабаде оказалась трех лет от роду. Может быть, они какое-то время жили в Новосибирске... Одним словом, в 37-м году мама и бабушка оказались в Ашхабаде, где наученный опытом прадед на любой стук, подходя к двери, снимал шапку и кланялся, кто бы ни входил, будь то домоуправ или соседка за спичками. До войны... Я начал об этом рассказывать, но не договорил: свояк был крупнейшим промышленником края, возможно, самым крупным, а у деда, то есть прадеда — деда по материнской линии я не знал, поэтому часто прадеда называю дедом. На самом деле я кое-что вспоминаю по ходу дела.

Я стал говорить про духовное сословие в роду бабки, а это духовное сословие было в роду бабки по деду, фамилия которого Курицын, которого я не видел, потому что с моей бабушкой они развелись, когда моей маме было три года. Да, оттуда эта золотая цепь. Рассказ такой сбивчивый, не очень подготовленный, поэтому не знаю, что тут может остаться, а что может порезаться. Но смысл в том, что прадед по маме накануне Революции держал торговлю сельскохозяйственными орудиями из Швейцарии и был, что называется, эксклюзивным дистрибьютором швейных машинок «Зингер». И одна такая машинка завалалась в хозяйстве, она оказалась в семье моей двоюродной тети по маме.

## Ашхабадское землетрясение

Собственно говоря, о прадеде. Всю войну и эти страшные 1930-е годы в Туркмении было не голодно, не холодно. И этот местный менталитет не очень совпадал с общей установкой Сталина на уничтожение как можно большего количества людей. И, в общем, за прадедом там особо никто не следил. Его дочь, Мария Алексеевна, работала в приличной организации секретарем-машинисткой, мечтала о высшем образовании для дочери, и моя мама, закончив школу, поступила в ашхабадский медицинский институт. Это был 1948 год. Сентябрь и начало октября она ходила туда на занятия и была очень этому рада. А потом произошло ашхабадское землетрясение, знаменитое воскресенье, если я не путаю, 6 октября 1948 года, где погибла реально половина города. Мне только недавно удалось узнать подробности и обстоятельства того, как это произошло.

Дело в том, что строения в Ашхабаде почти сплошь из так называемого саманного кирпича, который не обжигался, а делался просто, по сути дела, из земли, смешанной с глиной и тростником. Стены вполне были надежные. В этих жилищах было даже прохладно, как вспоминает мама. А крыши делались из жердей, которые также перекладывались соломой. И каждый год они трескались на солнце, и каждый год наносился новый слой, чтобы эти крыши не текли в тот период, когда там бывали дожди. И с годами этот слой становился все толще, толще, толще. И постепенно крыша превращалась в подобие бетонной плиты, куда более хрупкой и ненадежной, но от этого ничуть не менее тяжелой.

Поэтому когда Ашхабад потрянуло, а потрянуло его очень хорошо, весь этот одно-двухэтажный город просто превратился в прах. Там не уцелело практически ничего, будучи конструктивно так ненадежно построено. Мама говорила, что приходили за день или за два до этого пастухи с гор и пытались предупредить местные власти, что коровы и собаки ведут себя как при надвигающемся землетрясении. Но это был или вечер пятницы или суббота, в райкоме, или как это там называлось, в местных органах администрации, не было никого, кому можно было бы это сказать. В общем, реакции городских властей не последовало. И город, по сути дела, обрушился на людей. Просто даже по данным о нашей семье — погибла половина семьи. Там были еще кое-какие родственники. У дяди Сережи, сына моего прадеда, моего двоюродного деда, погибла жена, погибла моя бабушка Мария Алексеевна тридцати восьми лет от роду. А моя мама, находившаяся с ней в одной комнате, спаслась благодаря тому, что рядом с ее

кроватю стоял шифоньер, и этот саманный потолок рухнул так, что несущие жерди стали как бы защитой. То есть он не упал на постель... Шифоньер оказался преградой, принял на себя основную ударную нагрузку. Мгновенно территория была оцеплена, прислали войска.

**” Толком не дали похоронить — это были гигантского размера братские могилы. Информацию, насколько мне известно, тщательнейшим образом заминали.**

Об этом Ашхабадском землетрясении стали вспоминать уже существенно позднее, откуда я, собственно, и смог вытянуть подробности, связанные с конструктивом этих глиняных домиков. Прадед уже тогда был страшно болен. Уже безнадежно больной, но все-таки с какой-то еще надеждой, что в Москве ему смогут помочь, он был отправлен в Москву на самолете. Здесь его встречал мамин двоюродный брат. Но ему стало плохо, и он в самолете скончался. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 48-м году, тогда совсем не престижном, обычном городском кладбище. Именно в связи с этим мама была вынуждена покинуть Ашхабад, где было просто негде жить. И с уцелевшей бабушкой своей, женой прадеда, моей прабабкой, они приехали опять к тем же родственникам, которые из Новосибирска были переведены в Москву.

Тут мне хотелось бы пропустить какие-то подробности. Смысл в том, что так мама стала москвичкой, а Ашхабадский медицинский институт каким-то автоматическим образом поменялся на Московский рыбный... ВТУЗ тогда это называлось — высшее техническое учебное заведение. Из терапевта она переквалифицировалась в ихтиолога, благо все вступительные экзамены совпадали, а занятия только-только начались. В 54-м году — дай бог памяти — в 52-м в доме отдыха они познакомились с отцом, который, по воспоминаниям мамы, очень красиво ухаживал. Поженились они в 1957-м, я родился в 1959-м. Дальнейшие подробности, как сказал классик, усугубили бы речь. Теперь можно начинать отсчитывать мой собственный, так сказать, период.

## Первые квартиры

Мой путь начался 25 мая 1959 года. Из роддома на Шаболовке, куда маму привезли со схватками, и где она рожала меня в течение двух суток. Не было мышечной активности, и все тут! А стимулировать тогда не умели. Тем не менее родился с божьей помощью довольно увесистым юношей. И отбыл по месту будущей прописки: Первомайская улица, угол с 11-й Парковой. Там был дом, который в 1940-е годы строили пленные немцы, и где отец с мамой получили комнату. Эту комнату они получили, когда папа жил еще с бабушкой, бабушка уже впоследствии получила Тверскую-Ямскую. Собственно говоря, там я прожил два с половиной года или три. Помню интерьер этой квартирki со своими в доску соседями, какие-то мелочи, которые вряд ли кого интересуют: всякие кухонные шкафчики, помню, как стояла мебель. Это очень забавно, прошло пятьдесят три года, а я это помню.

Оттуда мы переехали на Преображенку в полторы комнаты общей площадью двадцать четыре квадратных метра, что казалось после девятиметровой комнатки существенным улучшением жизненных обстоятельств. Но не тут-то было: в отличие от предыдущих, соседи попались не ахти. Я хорошо помню скандалы, постоянные требования, интриги одной несчастной дамы, которая против нас настраивала другую и продолжала ее настраивать после нашего отъезда в отпуск, и тут-то она поняла, в чем дело. И так далее. Вряд ли это все имеет какой-то содержательный смысл, в схематичных формах это все есть у художника Ильи Кабакова. «Чья это терка?» — «Ольги Марковны». Я думаю, вот этой емкой формулой быт советский того времени вполне исчерпывающе описан.

## Депрессивный детский сад

Родители, и папа, и мама, работали, постоянно залезали в долги. Вышеупомянутая фамильная золотая цепь не вылезала из ломбардов. Мама до сих пор рада, что она все-таки не отплыла, не ушла, осталась в семье. Я с трех примерно лет оказался на шестидневке в детском саду, который до самого недавнего времени находился, как и в те времена, в Орликовом переулке. Помню этот невероятный шпиль Министерства путей сообщения, который подсвечивали по праздникам. Помню, как лежал в этой нашей детской кроватке-раскладушке, которая представляла собой деревянную раму со складывающимися вовнутрь деревянными же ногами. Я не помню, был ли матрас, но на эту раму был натянут брезент. И вид улицы... Мне несколько лет назад довелось, случайно проезжая мимо, хотя, понятно, это было несложно сделать и раньше, зайти в этот дворик, увидеть все ту же беседку, не изменившуюся. Я помню, как пускал там пузыри из слюны, которые замерзали на ветру причудливыми сферами и кололись подобно яичной скорлупе. Это был такой вид детского досуга. Место депрессивное, дебильное. Помню, воспитательница говорила маме, что я единственный ребенок, который говорит «здравствуйте» и «до свидания». Та ли это была воспитательница, которая нас мучила там, или это была другая, сейчас уже сказать не берусь, но, видимо, это каким-то образом находило отклик в сердце русского человека — вот такая беспричинная патологическая жестокость. Нельзя даже сказать, что эта тетка получала какое-то удовольствие от причинения детям физической боли. У нее, видимо, была такая педагогическая система. Не буду останавливаться подробно на всех хитрющих и мерзейших способах, какими она делала больно, но уже впоследствии, через много лет я осознал, что подобное причинение боли не оставляло никакого следа, то есть не было ни синяков, ни ссадин, ни кровоподтеков, ни переломов. Но способы были самые изверские, и депрессивность, разлитая в воздухе, была такова, что никто не жаловался.

Когда по достижении десяти-одиннадцати лет я начинал осознавать, что с нами такое происходило, и потихонечку начал рассказывать об этом дома, отец в какой-то момент не выдержал и был готов ехать убивать эту несчастную женщину, которая считалась одним из лучших детских педагогов Москвы. В общем, детство было тяжелым и неприятным.

## Радости детства

Но были и светлые пятна: меня записали в музыкальный кружок, в котором удивительным образом преподавателем оказалась Инна Александровна Дунаевская. Не берусь утверждать, что она находилась в прямом родстве с великим композитором, хотя что-то такое, наверное, было, — может быть, какая-нибудь троюродная племянница или что-то в этом духе. Но, замороженный красотой ее невероятных рук с неземными золотистыми плоскими часами и каким-то потрясающим — он до сих пор у меня стоит перед глазами — профилем слева, два раза в неделю я, как загипнотизированный, шел брэнчать в соседний подъезд, в подвале которого находилась комнатка домоуправления, выделенная для этих занятий. А напротив был ремонт обуви. Это известный дом Преображенский вал, 24, куда мы переехали вскоре после того как выехали из Измайлова.

Очень памятна поездка с родителями на юг. Помню, как отец забивал багажник канистрами с бензином, который ему удавалось покупать по каким-то немыслимым смешным ценам. Фактически его хватало на дорогу в Крым и обратно. Вообще ощущение счастья для меня — это езда на автомобиле на юг. К сожалению, семья моя, уже моя собственная, не разделяет таких моих пристрастий, разве что сын в некоторой степени. Поэтому, уже достигнув возможностей, когда это можно делать легко, я ими, к сожалению, чрезвычайно мало в жизни пользовался.

## Школьные учителя

Школа была самая обыкновенная, во дворе, 432-я, абсолютно обычная, вполне фундаментальная. Думаю, моим счастьем было то, что я довольно быстро, может быть, в классе пятом-шестом приобрел то, что называется врожденной грамотностью. И ни с русским, ни с литературой у меня проблем не было. Сочинения я писал вполне, так сказать, на уровне. Вот эта вот советская дребедень под условным

названием: «Роль труда в превращении обезьяны в человека». Всегда выбирал в сочинениях свободные темы, потому что трактование классики... Какой восьмиклассник мог написать сочинение по Толстому или Достоевскому?! Уже во взрослом возрасте я перечитал «Войну и мир» — мне было, наверное, слегка за тридцать, — и понял, что это совершенно другое произведение, чем то, которое мы проходили в школе. Хотя в этом смысле мне тоже повезло, потому что я умудрился его прочесть до того, как мы начали его разбирать с нашей хорошей, доброй, но бесконечно советской тетей.

” Странность ситуации заключалась в том, что за эти годы, с 1917-го по 1967-й — казалось бы, пятьдесят лет! — действительно был выведен совершенно иной тип людей. Это были «гомо советикус», люди со смещенным центром тяжести в головах.

И мне кажется, должно пройти еще не меньше пятидесяти лет, чтобы изменения, которые сейчас, в общем-то, видны, несмотря ни на что, стали бы доминировать и, в конечном счете, эту странную ситуацию, ничем не объяснимую, кроме как забитым детством и вдалбливанием идеологических постулатов, исправили бы. Историю я не учил, разумеется, такого предмета у нас не было. Историк наш, бывший полковник МГБ Михаил Иванович Дроздов, очень добрый человек, просто диктовал нам билеты экзаменационные в старших классах, а на уроках травил белорусские сказки, совершенно завораживающие. Мы сдвигали парты амфитеатром вокруг него, была гробовая тишина. Звенел звонок, он поднимал брови, все парты расползались по местам. «А билеты я вам продиктую!» — говорил он. Человек интересный. Я думаю, тогдашнего моего уровня не хватало, разумеется, для того чтобы понять всю его мудрость. Но это был один из немногих учителей в школе, которого действительно любили.

Зато француженка была патологической химерой. Я не буду называть ее имени, она страшно наказана жизнью, Богом и судьбой. Женщина невероятной жестокости и, видимо, такой же степени дилетантизма. Французский у нее мог выучить только один прилежный ученик. Все остальные, несмотря даже на некоторую успешность, языком после школы пользоваться не смогли. У меня получилось так, что я оказался в двадцать лет в Чехословакии, которая на меня произвела колоссальное впечатление, потому что жизнь в Праге 1979 года радикальным образом отличалась от жизни Москвы того же периода. Оказавшись в номере гостиницы с американцем, который предложил мне на выбор три языка, я внезапно понял, что я нем. И в двадцать лет я побежал доучивать. Но какой? Тот, который оказался ближе, — французский. И, в общем, это единственный язык, на котором я могу сносно изъясняться, с английским так и не сложилось. То есть я могу что-то объяснить, но с пониманием очень большие сложности. Так, видимо, и умру, не освоив English, о чем безмерно сожалею, потому что куча потрясающей литературы на английском, и перевод — это все-таки совсем другое состояние, совсем другой материал.

Поступил после школы в Автомеханический институт по причине того, что любил при отце возиться с автомобилем.

## Студенческие годы

**Н.Л.:** Алексей, а вы писали стихи во время учебы?

**А.С.:** В школе были какие-то попытки, но они, как это ни странно — мне до сих пор не понятно, — ни одной из преподавательниц русского языка, какие у нас были, не поощрялись. Это, может, и хорошо, потому что все внутри как-то зрело, вылилось уже во время учебы в этом техническом вузе. Сразу стало понятно, что поступил я в него абсолютно зря. Не влекла меня теория механизмов и машин, и сопромат, и все такое. Я получил об этом вполне сносное представление, чтобы не бояться забить гвоздь или полезть с гаечным ключом под капот. Но сейчас получается так, что знание того, как это делать, значительно важнее, чем умение. И поэтому полученные там знания позволяют мне на моей нынешней работе обходиться без матерого хозяйственника, то есть экономить на зарплате. Прямая выгода! С другой

стороны, я «не загремел под фанфары». И думаю, что в армии мне пришлось бы туго. Не то чтобы я был особым умником, но интеллигентиков в очках, к тому же из Москвы, в армии не очень-то жаловали. Поэтому вся моя армия закончилась двухмесячными военными сборами. И стоит мне подумать о том, что подобное состояние могло длиться в двенадцать раз дольше, мне по прошествии даже стольких лет мне становится плохо. Тупость, бесконечная бездарная муштра, политработа — в общем, вся эта шняга.

Понятно, что и в этом институте была веселая студенческая жизнь, но это, скорее всего, функция молодого организма, свойство юности, а не какие-то заслуги собственно учебного заведения. Научился там пить пиво, которое раньше мне казалось чрезвычайно невкусным. Собственно, оно и не было вкусным, пока я не попал в Прагу. А в Праге я почувствовал разницу с нашими стояками, где за двугривенный тебе наливали 457 или сколько-то там граммов, потому что пол-литра стоили двадцать две копейки. А двадцати двух копеек не было, автоматы были заточены на двугривенный. Потом пиво подорожало, стало стоить уже, по-моему, сорок копеек. Но к тому времени это пиво я уже тоже пить перестал. *(Смеется.)*

Про военную кафедру очень смешные истории: «Старшина Заводкин, подать сюда зачетные кружки!.. Книжки!» — «Все довольны своими баллами? Что, Крючков, руку тянете? Недоволен? Хотелось бы четверочку? Крючков, «четыре!»» Да-да, «по зеленому свистку» и так далее. Все это очень, конечно, смешно. Военная кафедра занимала довольно много времени. И надо отдать ей должное, у меня был предмет «Технология машиностроения», где, собственно, автомобили проходили как бы по касательной немного, а основные представления об устройстве автомобиля я получил именно на военной кафедре. Был там замечательный полковник Плотников, который скрашивал нашу судьбу. Это был очень щедрый, душевный, сердечный человек, полный всяких автомобильных историй. Жив ли? Вряд ли. В общем, каждый раз я вспоминаю его с теплотой. «Так, видишь какое дело, — говорит. — Студенты ТИАМа не обязаны получать права, но я для тебя что-нибудь сделаю. На грузовике ездил?» — «Ездил», — не моргнув глазом, сказал я. — «О! Давай еще раз проедешь, и я тебя запишу в сдающую группу». И так, закончив институт, я получил автомобильные права, причем сразу аж на грузовик, хотя наш факультет не должен был их получать в обязательном порядке, как те студенты, которые учились на факультете «Автомобили и двигатели».

## Близкие друзья

А потом был такой смешной период... Да, конечно, в это время уже завязались первые серьезные дружбы. Это был бесконечно мною любимый и оплакиваемый (двадцать лет прошло с года его смерти) мой самый близкий и самый дорогой друг — Роман Чепига. Человек, благодаря которому я стал отчасти тем, что я есть. Гений парадоксов, вечно сомневающийся во всем. Постоянно ищущий суть предметов, смысл, и совершенно иных художественных критериев и стратегий, нежели я. Если для меня в седьмом классе оказался точкой невозврата Блок, то для него главной фигурой был Мандельштам, который, конечно же, впоследствии стал и моим бесконечно любимым поэтом. Смысловые структурные сдвиги, которые у Блока были в каких-то латентных формах, у Мандельштама достигли масштаба абсолюта. И в этом смысле, если сравнивать их как двух поэтов Серебряного века, наверное, Мандельштам круче. Вообще о Ромane и об этом периоде юной дружбы надо рассказывать отдельную историю, но, я думаю, что это не в рамках данной программы, хотя это было, наверное, самое важное, что произошло со мной в ранней юности.

**Н.Л.:** Я думаю, это интересный момент.

**А.С.:** Мои друзья — вот он — Роман, и еще был такой славный малый Костя Купеев, отношения с которым сохраняются до сих пор, хотя он много лет уже живет в Израиле, — профессор математики или что-то в этом роде, — создавали, как им казалось, невиданные жанры. Была создана такая художественная концепция почти что с манифестом, которая была названа ими импреокларизм. Этимология понятна. Это была форма верлибра с семантическими смещениями. Конечно же, все это было в литературе, и русской, и мировой. Но ими это было как бы открыто заново в начале 80-х годов. И я до сих пор в каком-то смысле подпитываюсь токами, пульсирующими в этих нескольких десятках небольших текстов.

Это почти сплошь верлибры, но верлибры с глубокой внутренней разьединенностью частей и созданием новых парадоксальных смыслов. Даже не созданием, а случайным возникновением. Это можно было бы вполне считать абстрактными стихами. Известно: Кандинский был на шаг от абстракции, но тем не менее живопись его была фигуративна. И на одном из подготовительных этапов выставки он увидел работу, стоящую на боку, свою работу — и так началась абстракция. Не до конца понятые и прочувствованные стихи Мандельштама, например, такие:

*Я буду метаться по табору улицы темной  
За веткой черемухи в черной рессорной карете,  
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...  
Я только запомнил каштановых прядей осечки,  
Придымленных горечью, нет — с муравьиной  
кислинкой,  
От них на губах остается янтарная сухость.  
В такие минуты и воздух мне кажется карим,  
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой...*

Ну и так далее. Я не буду это знаменитейшее стихотворение Мандельштама читать, но если его раздробить и эти образы разъять или не обрести их внутренние смыслы, то это почти абстрактный стих. Или, например, вот это, не менее известное стихотворение «На смерть Андрея Белого»:

*Как стрекозы садятся, не чуя воды... —  
фрагмент, естественно, —  
... в камыши.  
Налетели на мертвого жирные карандаши.  
На коленях держали для славных потомков листы,  
Рисовали, просили прощенья у каждой черты...*

Вот эти «жирные карандаши», налетевшие на мертвого, сам этот образ, если его буквально визуально представить, это, конечно, тоже очень... Тут тебе и Дельво, и Магритт, и Сальвадор Дали. И следующий шаг — это полная оторванность от смыслов. Я не берусь утверждать, что я был тогда филологически более искушен, чем они, но я как-то... Первообразность этих метафор увлекала больше, чем расшифровывание смыслов, которые за ними стояли, моих друзей-импреокларистов. Я пытался втолковать, что то, что вы пишете, — это неправильный Мандельштам, неувоенный Мандельштам, потому что вы не видите за деревьями леса, а лес очень глубок и интересен. Но впоследствии выяснилось, что, создавая свои конструкции, они каким-то образом нащупали новое качество. Метафора там стала следствием или функцией языка, то есть произошла некая метафизическая игра, когда поэт пишет как бы одно, а в результате получается нечто совсем иное.

**” На самом-то деле в этом и есть загадка поэзии, потому что поэт всегда, как ему кажется, пишет одно, а потом в восхищении обнаруживает, что написано гениальное стихотворение.**

Я открыл это сам, а впоследствии, уже читая и общаясь со многими, с огромным количеством поэтов,

я понимал, что это не частный, а абсолютно общий случай.

## Работа на заводе и коррупция

Краткий кусочек перехода из состояния выпускника технического вуза в другое, я бы сказал, социальное сословие. Мне настолько омерзительна была тема какого-нибудь конструкторского бюро, научно-исследовательского института, что я, преодолевая определенное сопротивление института, потребовал, чтобы меня распределили мастером на ЗИЛ. Это был ход отчаяния, потому что жизнь в НИИ, в КБ была бы на порядок более спокойной, но превратиться в придаток кульмана... эти инженерские курилки, эти почтовые ящики... Когда я вспоминаю эти места работы моих родителей, их знакомых, мне до сих пор делается нехорошо на душе... В общем, это сжигание собственного времени бессмысленными телодвижениями. На самом деле это, конечно, было не совсем так. Мама была, в общем, вполне серьезным ихтиологом, и у нее была жизнь, связанная с командировками, причем зарубежными, в начале уже 1970-х годов, что было абсолютно нереально. Представляете, молодому научному сотруднику выезжать без сопровождения специалиста из соответствующего ведомства! Ну, «для меня поиграть на скрипке Страдивари — это все равно, что для тебя пострелять из пистолета Дзержинского». (*Смеется.*) Мама, видимо, не вызывала ни у кого никаких идеологических сомнений в этом смысле. Она была простой советский человек, особо не задумывающийся, делающий свое ихтиологическое дело. Последние несколько лет ее работы были связаны с распределением флотилий советского рыболовецкого флота по акваториям океанов на основании космических данных. То есть из космоса было видно, где косяки рыбы ходят, они видны, оказывается. И в соответствии с этим направлялись туда рыболовецкие суда, траулеры и так далее. А работа отца мне казалась невероятно скучной. Это проектирование каких-то корпусов под тяжелое машиностроение, монтаж доменных печей и так далее. Командировки его были неинтересными, я вместе с ним и не ездил никогда, интересно было ездить только с мамой. Словом, жизнь советского инженера вызвала в моем сознании спазм, и поэтому я рванулся напролом, и в конечном счете не пожалел. Когда я попал на Завод имени Лихачева, я был единственным мастером в многотысячном корпусе — моторный корпус — с высшим образованием. Моторный корпус только-только перешел на работу в три смены после двухсменной работы, то есть оборудование было настолько изношено и кадры настолько неквалифицированы, что уже тогда — это был 1981 год, — пришлось прихватывать еще ночь. Мало того, стали все больше появляться «черные» субботы и даже воскресенья, когда ИТРы, в том числе мастера, выходили на работу как бы за отгулы, а рабочие — за двойную, а то и тройную оплату.

В этой связи хочется вспомнить один совершенно невероятный эпизод, который в одно мгновение открыл мне всю суть товарных отношений позднего социализма. Мне позвонила однокурсница по институту с вопросом: «А знаешь, — говорит, — тут у нас ходит газетка американская, «Нью-Йорк таймс», что ли, или что-то в этом духе, ксерокопия, где ваш генеральный директор товарищ Бородин сфотографирован на фоне дверей швейцарского банка?» Я говорю: «У нас по этому поводу ничего не слышно, бумажка у нас такая не ходит. А слышно у нас только, как чавкает масло в разъединных туристических ботинках». Потому что моторный корпус, в общем-то, славился своей чернотой: смазывающие и охлаждающие жидкости, постоянный прорыв трубопроводов для гидравлики станков и так далее. В бригаде соседней был очень забавный малый — Петров по прозвищу Татарин. Это был красавчик голубоглазый, черноволосый, который умудрялся один совмещать четыре производственных операции. В двух других сменах на этих операциях работали по два человека, а когда кто-нибудь из них уходил в отпуск, временных рабочих приходилось брать четырех, на каждую операцию по человеку. Соответственно, зарплата у этого Петрова была по 500—600 рублей, он получал официально денег больше, чем начальник корпуса. Вот такой был феномен. Очень ловкий человек. Не столько сильный, сколько невероятно ловкий и неустоящий. И, естественно, он в среде рабочих слыл баринотом-аристократом. А была у него одна пламенная страсть: девки. За обеденным столом к нему набивалась толпа молодняка, чтобы послушать очередные рассказы, которые он со всюю живостью, с изображением в лицах доносил до подрастающего поколения, сам, видимо, переживая эти впечатления. Я их слышал

краем уха, сидя, разумеется, за другим столиком. Мастерам не полагалось настолько смешиваться с рабочим классом, была некоторая дистанция. Но когда я услышал, что ему в качестве очередной подруги попала лейтенантша КГБ, я страшно заинтересовался. Он рассказывал, как с ней познакомился на какой-то дискотеке, и как он ее так, и как она его, и все такое. «Слушай, Петров, — говорю, — вот такие слухи ходят. Узнай, что там в кагэбистских кругах по поводу товарища Бородина слышно!» А за это время товарища Бородина — проходит месяца два или три, — тихо-тихо, без особой помпы отправляют на пенсию. Это год, наверное, 1982-й — 1983-й. Бородин был свояком Косыгина. Косыгин был одним из трех лиц государства: Брежнев, Косыгин, Подгорный\*.

\* Брежнев умер в 1982 году, Косыгин в 1980-м, Подгорный — в 1983-м, но в 1977 году был отправлен на пенсию.

Еще был министр иностранных дел Громыко, «господин Нет», известный в мировых дипломатических кругах. То есть они были женаты с Косыгиным на сестрах. Это все выяснилось, естественно, сильно впоследствии. И Петров мне рассказывает совершенно невероятную — по степени того шока, которое она вызывала — историю, но как теперь становится понятно, историю совершенно обыкновенную. Он, естественно, спросил свою девицу об этом и рассказал мне буквально на следующий день, что произошло с Бородиным, поскольку подружка его девицы оказалась сотрудницей ровно того отдела, который занимался раскручиванием всего этого дела. Здесь мне хочется сказать, что это все может быть фейком, потому что никаких, естественно, документов я не видел, никаких доказательств этому нет, со свечкой не стоял, была ли это лейтенантша КГБ, не знаю. Но, мне кажется, общий примитивный уровень Петрова, весьма простого малого, был бы в несоответствии с рассказом, который я услышал. Дело, якобы, выглядело так. Из Индии пришел двигатель по рекламации с каким-то дефектом, обратно на завод. На заводе при приемке случайно обратили внимание, что двигатель с таким номером в Индию не выезжал. На заводе уже тогда были несуну — это было общее место советских производств. Тырили все, что можно было стирить: карбюраторы, детали, большие и мелкие части. Для того чтобы минимизировать потери были созданы специальные охраняемые подразделения внутривзаводские. Назывались они почему-то КВОП, аббревиатуру сейчас не расшифрую. И вот этот КВОП стал искать двигатель. Выяснилось, что двигатель числится за автомобилем, который приписан к транспортному цеху этого же завода. То есть двигатель по документам числится работающим на заводе, а автомобиль с этим двигателем оказался в Индии. То есть он был каким-то образом нелегально продан. Судя по тому, что произошло с Бородиным, как его после этого раскручивали, этот случай был не единичный. По словам Петрова, обнаружались целые эшелоны, которые вместо Эстонии шли в Грузию и так далее. В общем, этот коррупционный аспект, который мы сейчас видим во весь рост, существовал, я думаю, всегда. Во всяком случае, эта информация мне известна вот в такой интерпретации. И я думаю, что она очень похожа на правду.

В 84-м году, уже слегка подустав от затянувшегося знакомства с советским производством, я подал документы на творческий конкурс в Литературный институт. А для верности заручился поддержкой советского поэта Евгения Михайловича Винокурова, которого постоянно путают с другими поэтами. Был он не бог весть какого дара, но дара подлинного. И то, что у него есть несколько стихотворений, в том числе эта песня грустная «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», — это его каким-то образом из общего ряда поэтов послевоенного поколения выделяет. Это, конечно, был не Слуцкий, это, конечно, был не Самойлов, это просто другого масштаба фигура. Но тем не менее какая-то живая внутренняя нота в нем звучала. И он меня взял, буквально на пороге, прочитав несколько стихотворений, дал рекомендацию. И я с этой рекомендацией поступил в Литинститут без особых проблем.